

## Клуб рассказчиков

Евгений ПРОКОПОВ



### КРОВЬ ПРОЛИВАЛ

*Посвящается моему деду  
Прокопу Никанорову*

Раз в год – поздней осенью, ближе к зиме, приходила посылка.

Вернее, сначала приходило извещение – осьмушка плотной бумаги, покрытая чернильными каракулями, писанная рукой очевидно непривычной к письму. Мать говорила нам с сестрой:

– Это от дедушки вашего. От деда Прокопа. Он хороший.

Мы с Валюшкой смеялись над корявыми буквами. Сестра-отличница дразнила меня тем, что такой же почерк будет и у меня, если чистописанию не буду уделять должного внимания и не буду стараться.

Несколько дней извещение лежало, дожидалось часа, когда работавший по сменам отец шёл получать гостинец с родины. Зная, какая там тяжесть, мать не рисковала сама сходить за посылкой.

И вот отец приносил с почты фанерный ящик. Лохматым шпагатом обвязанный по запилам-пазам, обляпанный сургучными печатями, тяжеленный ящик стоял на полу, дожидался, пока отец разденется, возьмёт большую отвёртку и плоскогубцы. Я приносил ножницы, разрезал шпагат. Отец поддевал отвёрткой фанерную крышку, приподнимал её.

Скрипели гвозди, крышка откидывалась, на её обратной стороне виднелась подпись аккуратным отцовским почерком: дед с крестьянской практичностью использовал посылочные ящики, в котором мы ему посылали городские гостинцы. Под крышкой были свёртки в промасленных газетных листах. Газетой были завернуты бруски сала в белых обсыпанных солью тряпицах. Запах чеснока распространялся по комнате. Сало уносилось матерью на кухню. А в ящичке ещё оказывалась баночка мёда, бутылка мутного самогона-первача, полотняный мешочек с лесными орехами, и две пары детских лаптей, в шутку сплетённых далёким дедушкой для городских внучат. Мы с сестрёнкой обували лапоточки, бегали по длинному коридору нашей коммунальной квартиры, скользили на крашенных досках пола. Соседские дети завидовали нам и просили примерить. Мы сначала отнекивались, а потом, уже в кровь натерев ножонки, отдавали поносить непривычную обувь друзьям, а сами шли пить чай с душистым деревенским мёдом.

Вечером отец с соседом дядей Сашей Вороновым, бывшим моряком, сидели

на кухне, выпивали под присланное сало, курили, вспоминали детство. Оба они были деревенские, и пьяные слёзы навёртывались на глаза мужиков после первых же стопок. Посиделки заканчивались тем, что вконец окосевший боцман Воронов был уводим своей смиренной и терпеливой женой в их комнату. Он шёл, шагаясь, по коридору. Одной рукой обнимал подругу, а другой перебирал по стенке. Словно штормом бросало из стороны в сторону его грузную коренастую фигуру в линиялой тельняшке. Он поворачивал своё раскрасневшееся лицо с обвисшими флотскими усами и кричал в раскрытую дверь кухни:

– Вася, друг, спасибо тебе!

А Вася-друг долго сидел ещё один за кухонным столом, думал. В такие минуты мы не трогали его. Потом он ещё умудрялся кое-как прибраться, шёл спать.

Через неделю— другую собиралась ответная посылка. Сахар, крупа, рубаха и фуражка деду, платок и отрез на платье бабке. Чекушка «Зубровки» или «Зверобоя». Несколько цыбиков чая. С полкило леденцов. Разная мелочь «по заявке»: то калоши, то мелкие гвозди, то оконная замазка, то лекарство какое.

– Что, этого у них там нет?— спрашивали мы с сестрой.

– Ничего там нет, дети,— отвечал отец,— Да и купить не на что. Денег не платят. Одни трудодни.

Он начинал заколачивать ящик, потом спохватывался:

– А письмо? Письмо написали?

– Написали,— отвечали мы, подавая свои листки.

Наши детские послания отец подсовывал под крышку, заколачивал последний гвоздь и уносил посылку на почту.

Скоро приходило письмо от стариков, где «во первых строках» шли приветы и пожелания, а потом благодарности за посланное, а потом благодарности за посланное и укоризны сыну Василию, что тратится на дорогие посылки.

Знакомый по письмам и посылкам адрес «Калининская область, Андреапольский район, п/о Козлово, деревня Фомино» скоро получил реальное воплощение в моей детской голове.

Летом 1960-го года отец поехал на родину. Взял и меня.

Смутно помнится долгая дорога поездом. Скучная Барабинская степь, Омск, Уральские горы, Башкирия. Потом была пересадка в Москве. И тут более-менее чётко помню прогулку по Красной площади и в Кремле, Царь-колокол и Царь-пушку.

От Бологого до Андреаполя ехали в переполненном общем вагоне.

Дедушка встретил нас на станции. Сразу он мне понравился. От него пахло конским потом и махоркой. Мы ехали на телеге. Взрослые говорили, я лежал на душистой кипе сена, смотрел на жаворонков в синем небе, потом задремал, сморённый многодневной утомительной дорогой.

Проснулся я уже, когда мы подъезжали к месту назначения. Деревня Фомино была деревенькой в одну улицу, лежала перед нами сказочно красиво на долгом зелёном склоне. Лошадка, подстёгнутая дедушкой, побежала трусцой через речку по каменистому броду. Рядом был пешеходный мосток из трёх бревен. В гору телега пошла медленнее. Взрослые прыгнули с телеги, пошли пешком. Я, вцепившись в наш чемодан в полотняном чехле, трясся на сене.

Возле дома ждала нас бабушка. Радостные крики приветствий, слёзы, объятия. Стали подходить родственники, соседи. Сердечность встречи, простонародная открытость,— теперь-то я могу подобрать название. А тогда совершенно потерялся в суматошливой bestолковой суете.

С дороги передохнули, поели, вечером протопили баню. Она топилась по чёрному. С низкого потолка и стен свисали чёрные хлопья сажи. Печь-каменка обдавала жаром. Меня помыли и выпроводили в предбанник. Дедушка с отцом стали париться. Плескали ковшиком воду на раскалённые камни, пар ударял из двери, я испуганно отшатывался, а из парной неслись радостные крики восторга. В предбанник вывалились дедушка, сел рядом со мной на покрытую ряднюшкой скамейку.

– Ох, уморил меня Василий! Ох, Женька, и здоров париться батька твой!

Он сидел, остывая. Я глядел на его

шрамы и рубцы. На спине, на предплечье, над коленом.

– Чего это, деда?

– А, пустое, Женька, не обращай внимания. Это меня фрицы пометили.

– На войне?

– Ну да.

– Ты за Родину кровь проливал?

– Проливал, – ответил он, закуривая.

История, как дедушка кровь за Родину проливал, настолько необычна и трагедийна, что следует рассказать её хотя бы коротко, но с надеждой на последующее более обстоятельное изложение. Узнал я её уже значительно позже, когда повзрослел, когда стал интересоваться историей своих предков.

Прокопа Никанорова в числе других деревенских мужиков призвали в начале августа сорок первого. Обоз телег, на которых тряслись они, тянулся по просёлку. Головы трещали с вчерашнего прощального перепоя. Говорить не хотелось. Впереди уже показался Андреаполь, где был районный военкомат. Тут налетели немецкие самолёты.

В госпитале Прокоп со своими двумя осколочными ранениями был не самым *тяжёлым*. Быстро затянулись раны и отправили его на пункт переформировки под Великие Луки. Выдали оружие, обмундирование. Везли на полуторках. Фашистские танки прорвались на ту беду. Колонну раздолбали в пух и прах. Сквозная рана в предплечье и осколок в бедро, – опять дешёво отделался дед. Санинструкторша забинтовала вовремя. Не истёк кровью. В госпитале осколок из бедра выковыривали наживую, и он от боли обмочился. Рассказывал об этом со смехом.

В январе сорок второго, с третьей попытки добрался он до настоящей перредовой, даже несколько дней просидел под Вязмой в окопе. Страшный холод окаменил боевые порядки. Немчура при-смирела, но артналёты продолжались с арийской педантичностью.

Рядовой Никаноров помогал старшине тащить бачки с кашей, когда фашистские миномёты начали неурочный обстрел русских позиций. Осколками ближнего разрыва Прокопу разворотило полспины. Раздробило лопатку, за-

дело лёгкое. Если бы не зимняя одежда, то, наверное, не выжил бы солдат. А так, слава Богу, попал в медсанбат, потом на санитарном поезде отвезли его в тыловую госпиталь, где провалялся почти полгода. Но выжил. Был комиссован вчистую. В родную деревню вернулся на исходе лета сорок второго года. Фашисты недолго пробыли в их краях, но память оставили чёрную. Если где-то в соседних сёлах обошлось только реквизициями скота, принудительными работами, назначением старосты, да угрозами, то у них фрицы вовсю позверствовали. Полдеревни сожгли дотла, расстреляли четверых жителей.

Вернувшийся к родному пепелищу Прокоп, как единственный мужик в призывном возрасте, к тому же *проливший кровь за Родину*, был назначен председателем колхоза.

Начальником он был никудышным. Чересчур жалостливого и нестроного к оставшимся в живых односельчанам, израненного и часто болеющего фронтовика Никанорова через несколько лет, когда укрупняли колхозы, перевели в бригадиры фоминовского отделения. Прокопу это было на руку потому, что невыполняющих «первую заповедь» (так в те годы называлась обязанность выполнять хлебопоставки государству) председателей стали отдавать под суд за срыв хлебопоставок. В ответчиках теперь были другие, а его в худшем случае ждала выволочка в сельсовете или матюки председателя.

Жили трудно. Я, не знавший голода городской пацан, с каким-то жалостливым сочувствием слушал разговоры старших о военных и первых послевоенных голодных годах. Как пекли “черныши” — оладьи черного цвета из мерзлого прошлогоднего картофеля, который собирали по весне на огородах, хлеб из крапивы и лебеды (его смазывали медом, чтобы скрыть горечь), варили щи-болтушку из свекольных листьев, крапивные щи.

– Как крапивные? – удивлялся я.

– А вот так, внучек, резали на лугу, секли, запаривали, щи из неё делали. Ничего, если посолить да забелить. Приварок всё ж таки.

Я жалел бабушку и дедушку, с на-

вернувшись на глаза слезами обнимал их.

– Мы-то ещё ничего жили. Выручала корова да огород. Да и не семеро по лавкам. Дети выросли, своими семьями жили. Ты вон в Сибири оказался, Василий.

– Налоги, поди, жали. Всё личное хозяйство ведь облагалось?– спросил отец.

– Тогда строго было. Сам хоть голодный сиди, а сдай государству. Есть овечки, нет ли — шерсть сдавай. Мяса сдавай, помню, сорок килограмм. Курей держишь или нет — семьдесят пять яиц сдай. Где хочешь бери — а сдай, будь любезен. Ну, огород если кто держал, то и этот огород облагали. Как угодно, а плати за огород. Обязательство на масло, на шерсть, есть у тебя скотина, нет, все равно — мясо сдай, шерсть сдай, столько-то масла сдай и всё. Ещё деньгами подписывайся на заём. Не спрашивают, можешь ли. Не подпишешься — вызовут в сельсовет, пропесочат, пригрозят.

– У нас тоже на займы подписывались. Мы, работяги, на месячную зарплату, а партийные и начальство — те на три оклада. И не откажешься. Время было суровое.

– Да уж, досталось всем. У кого, если корова была и на огороде картошечка уродилась — эти съедят чего-то. Остальным хоть по миру иди.

– И с поля ни колоска не унесёшь?

– Куда там! У нас-то только лён, а надумай к полям, где рожь или горох, так объездчики из Козлова поймают да и высекут.

– Что, прямо секли?

– Это ещё слава Богу, если отходят кнутом. Лишь бы дело в *район* не передали. Там засудят.

Зловещая фигура объездчика после рассказов деда и бабушки долго представлялась мне неким исчадием зла. Деревенские мальчишки подтверждали легенды о лютости этих сторожей и скорости их на расправу, когда они встречали идущих с поля женщин, пытавшихся спрятать в одежде или корзинках горсть зерна или гороха для детей. Со временем нравы стали помягче. Голодуха миновала. Деревня, хоть и помалень-

ку, стала жить всё сытнее и легче. Набег на поля гороха предпринимались детворой уже больше из озорства.

Одного охранника я видел однажды. Приехала в деревню автолавка, это было событие, собралась толпа, мы толкались под ногами у взрослых. Подъехал мужик на лошади. Пустой рукав линялой гимнастёрки, картуз с помятым козырьком, через плечо кожаная полевая сумка-планшет. Поздоровался. Его пропустили без очереди. Не спешиваясь, он купил полкило пряников и бутылку сидра. Поехал своей дорогой.

– Объездчик!– пояснил мой дружок Петька.– Дядька Семён.

– Злой?

– Спрашиваешь? Как жиганёт кнутом! Взвоешь, поди-ка.

– Тебе доставалось?

– Нет.

– А почём знаешь?

– Ребята сказывали.

Десятка два ребятишек деревни Фомино были целыми днями предоставлены сами себе. Взрослые дотемна работали на полях. На мой вопрос, бабушка пояснила: – А в поле, касатик, все взрослые. Надо минимум выработать. А то хуже будет.

– Какой минимум?– спросил я.

– Минимум трудодней, — ещё непонятней ответила она.

Отец пояснил, что каждому колхознику приписано количество трудодней, сколько надо отработать. А то беда. Могут наказать.

– Как наказать?

– Огород обрежут. Лошадь не дадут, дров не выпишут. Мало ли. Принудительные работы пропишут.

Церкви в деревне Фомино отродясь не было. Ходили в соседние большие сёла, где сохранились храмы. Иконы в избе были. Но чтобы дед или бабка молились, — убей, не вспомню. Может быть, впрочем, молилась старуха уже после того, как я засыпал, утомлённый приключениями долгого летнего дня.

Зато запомнились рассказы о некой юривой прорицательнице Насте Вирятинской. Её святые подвиги сводились к тому, что она выступала в роли оракула, произносившего бессвязные “наме-

ки”, истолковывавшиеся ее матерью в качестве ответа на вопрос пришедшего.

Бабушка рассказывала о своей племяннице, ходившей к Насте за советом; о соседке, получившей заветную «грамотку». Я слушал, раскрыв рот. Таинственное пугало и манило.

– Всё, всё Настя знает! На любой вопрос ответ скажет.

– Какой вопрос, бабушка?

– Любой вопрос, касатик. Хоть про судьбу родных, хоть твою жизнь, хоть про здоровье. Про всё Настя даст предсказание, либо совет какой. Спутник-то запустили, так она прорицать стала о конце света. В том году её силком в психбольницу упекли, чтоб народ правду не знал. Да только не совладали с ней там. Через год вернулась в родное село. Так и живёт там.

– Где?– спрашивал я.

– В Вирягине. Вирягино село то называется. Потому и зовут её Настя Вирягинская.

– А, понятно.

– Испугались врачи, – шептала мне бабушка.– В исполкоме тоже напугались.

– Чего испугались-то?– вспомнил я почему-то объездчиков.

– Как же не испугались! Ей перст Божий дал дар предвидения. Прорицает! А кто божьего человека обидит, знаешь, что бывает? Начальника одного в полгода рак, болезнь страшная такая, скрутил. Настин гонитель был тот начальник. А кто ласков с нею, от Насти благословение. Их председатель-то не дурак. То масла, то муки им с матерью её пошлёт. Дров подвезёт. Зато и колхоз у него в числе первых. Колхоз-миллионер. «Путь Ленина» называется.

– Чего ты несёшь, старая? – прислушался дедушка. – Не слушай её, Женька! Дура она боговерная.

– Там председатель мужик строгий. Дело знает!– пояснил дедушка отцу, вступившемуся было за мать. – А вы детей-то крестили?

– Нет.

– Как-же так, Василий?

– А, батя, это долгий разговор...

Приметы недавней (прошло-то всего пятнадцать лет!) войны были вокруг.

Сгоревшие срубы и остовы печей торчали через двор-другой. За околицей полузаросшие окопы, засыпанные на треть пустыми гильзами, позеленевшими от сырости. Пробитые каски тут и там ржавели под кустами орешника. Бои в тех местах были яростные. Поражали моё детское воображение сосновые леса за рекой, словно подстриженные небывало плотным артиллерийским двухсторонним огнём. Срезанные и расщепленные на высоте семи-восьми метров от земли, деревья имели вид жуткий и зловещий. Когда мы с друзьями шли мимо этого леса по ягоды, я жался к мальчишкам постарше, а они смеялись надо мной, говорили, что война была давно, чего ж бояться.

И тут же показывали братские могилы, где схоронены были собранные местными жителями по окопам убитые красноармейцы. На этих могилах были фанерные пирамидки и звёзды. Неподалёку мрачно темнели заросшие травой неухоженные захоронения фашистов. Деревенские мои друзья рассказывали о привидениях в чёрной форме со свастикой. Меня от их рассказов трясла крупная дрожь. В конце концов, пацаны сами пугались своих небылиц и мы бросались опретью мимо зловещего леса.

Быстро пролетел отпуск отца. Мы отправились домой. В обратном порядке повторились Андреаполь, Великие Луки, Бологое, Москва, Уральские горы, Омск, Барабинские степи. Когда мы вернулись в Новосибирск, я показывал набранные в окопах гильзы, городские товарищи мне завидовали и предлагали выгодные обмены. Марки, игрушки, фонарик, нож-складिशок, – выменял я целую гору мальчишеских ценностей. Постепенно все мои запасы гильз кончились, но я рассчитывал, что на следующий год, много через два года, мы с родителями опять поедем в Фомино, и там я наберу уже «патрончиков», сколько надо.

Но вновь увидеть деда довелось мне только через четверть века.

Я дослуживал срочную службу. До демобилизации оставалось два месяца, когда мой ротный командир, капитан

Песочкий, спохватился, что я единственный из *демпелей*, который не был в отпуске. Причины были уважительные: я помогал ему, заочнику гражданского ВУЗа, решать курсовые, писать рефераты; подготовил за него две статьи в журнал «На боевом посту», даже пробовал подтянуть по математике его племянницу-старшеклассницу, которая на самом деле оказалась дочкой его любовницы.

Ехать через полстраны в Сибирь смысла не было. Через месяц с небольшим и так домой. Штабной писарь написал мне требование на проезд до Великих Лук, и я отправился проведать деда Прокопа.

После смерти бабушки, он жил теперь не в родной деревне Фомино, а у дочки Маши в большом селе Козлово.

Был он уже слаб последней предсмертной слабостью, лежал на печи, слезал оттуда только к столу. Тётя Маша рассказывала мне, что я вовремя приехал, что долго дедушка не протянет. За столом ему наливали рюмку. На мой недоумённый взгляд тётка отвечала, что доктор разрешил деду напоследок всё.

– А раньше, Женя, дедушка твой был боевой. Как приходит день пенсию получать, так мы уж знаем, где его искать. Идём с мужем Иваном в *отрезвитель*. Там кум наш работал. Он и уложит старого, чтоб проспался, да и деньги не пропадут.

Тётя Маша попросила помочь помыть деда. В бане, в большом корыте, сидел на маленькой скамейке старый солдат Прокоп Никаноров, исхудавший и мосластый. Давние шрамы и рубцы ещё страшнее были на стариковском теле.

Мы вымыли деда, одели его во всё чистое.

– Как заново родился. Спасибо вам, дети, – расчувствовался после рюмки дедушка.

Мы смотрели телевизор. Шли какие-то новости, кажется программа «Время».

Дед вдруг заплакал.

– Ты что, дедушка?

– Жалею я вас.

– Кого ты жалеешь?

– Всех жалею. Всех вас я жалею. Мне-то что, я скоро помру. А вас жалко.